



**Леонид КАЦИС, Михаил ОДЕССКИЙ**

**Поэтика славянской взаимности  
в творчестве В. В. Хлебникова и В. В. Маяковского**

**1**

Обращение русских писателей XIX–XX вв. к поэтике «славянской взаимности» — системе образов и идей в их выразительной функции — обуславливалось преимущественно конкретной политической ситуацией. В статье «Россия. Искусство. Мы», напечатанной в газете «Новь» 19 ноября 1914 г., т. е. во время Первой мировой войны, В. В. Маяковский счел целесообразным процитировать знаменательный текст В. В. Хлебникова «Воззвание к славянам студентам».

«Славянские» идеи, явно присутствующие в текстах футуристов, долгое время игнорировались по причине их «несвоевременности» (то в официально-советском, то в цензурирующе-доброжелательном понимании читателей). За последние десятилетия ситуация изменилась, особенно в отношении Хлебникова, творчество которого вообще невозможно адекватно интерпретировать вне «славянского кода». По словам Х. Барана, во многих работах которого изучается воздействие на «идеологический уровень в модели мира» Будетлянина «сферы славянских древностей, славянской культурной общности»:

Идеологические моменты в биографии и творчестве Хлебникова остаются до сих пор окончательно не проясненными. Такая ситуация, на наш взгляд, является результатом своеобразного «джентльменского соглашения» исследователей <...>, которые в советскую эпоху стремились «легализовать» Хлебникова и защитить его наследие от вполне реальных политических опасностей. <...> При этом как бы забывалось, что утопии и мифы (как социальные, так и литературные) глубоко родственны другу другу и что за их различными проявлениями в культуре нашего столетия — будь то в художественных произведениях, будь то в лозунгах, тиражируемых многомиллионными изданиями, — обычно скрывается вполне серьезное отношение к окружающей действительности и стремление преобразовать ее на новый лад<sup>1</sup>.

Конкретизируя необъятную «сферу славянских древностей, славянской культурной общности», мы предлагаем — в случае с Хлебни-

ковым (и Маяковским) понимать ее как особую «поэтику», сформировавшуюся преимущественно усилиями чешско-словацких сторонников «славянского единства» и актуализированную в русской литературе по крайней мере с рубежа 1820–1830-х гг.<sup>2</sup> Причем индивидуальное авторство отдельных категорий поэтики «славянской взаимности», как правило, дискуссионно: образы и мотивы переходили от одного писателя к другому, а кроме того, бытовали во всякого рода «суммах» славянской истории.

Х. Баран констатировал особое значение для Хлебникова эпохи чешского национального возрождения» (конец XVIII — первая половина XIX вв.), — общественного движения, которое возникло в результате реформ австрийского императора Иосифа II и было нацелено на борьбу с германизацией чешского общества и культуры, с одной стороны, и восстановление народного самосознания, с другой. Благодаря активным усилиям ряда выдающихся ученых, поэтов и публицистов (Й. Юнгман, Й. Добровский, П. Й. Шафарик, В. и К. Там, А. Пухмайер, Я. Коллар и др.), чешский язык, на протяжении почти двух столетий после битвы под Белой Горой (1620) вытесняемый немецким и практически полностью утративший свой социальный статус, снова стал языком литературы и науки<sup>3</sup>.

Сказанное применимо и к «Воззванию к славянам студентам» (1908). Это небольшое сочинение Хлебникова было реакцией на аннексию Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. По Берлинскому договору (1878) эти южнославянские территории, входившие в состав Турецкой империи, были заняты австрийскими войсками; к началу XX в. отношения России с Австро-Венгрией основывались «на двух предпосылках: на идее солидарности монархических государств и на обоюдном отказе от попыток изменения status quo на Балканах»<sup>4</sup>. Но в июле 1908 г., решив воспользоваться революцией младотурков, Австро-Венгрия взяла курс на формальное присоединение Боснии и Герцеговины.

В июле 1908 г. происходит еще одно важнейшее — с точки зрения «славянской взаимности» — событие, привлечшее внимание российской общественности: в Праге собрался Славянский съезд. Инициаторами традиционно выступили чехи, прежде всего лидер Национальной партии свободомыслящих К. Крамарж (недовольный «правизной» делегатов, в последний момент отказался участвовать в съезде Т. Масарик, ученый, политик, в будущем президент Чехословакии). Россию представляли общественные деятели, близкие к солидным оппозиционным партиям кадетов и октябристов: М. В. Красовский, В. А. Маклаков, Н. Н. Львов, А. А. Стахович, издатель И. Д. Сытин, психиатр В. М. Бехтерев и др. Были и делегации других славянских народов. Вопросы ставились самые разные, что видно по результатам

съезда: для координации был избран Всеславянский исполнительный комитет под председательством Крамаржа, а в центрах славянства рекомендовалось создавать «комитеты славянской взаимности», включающие пять секций: культурную, экономическую, туристическую, «сокольскую» («Сокол» — чешское молодежное движение<sup>5</sup>; ср. упоминание о нем в странном проекте Хлебникова, озаглавленном «Советы Самохина»: заботясь о нравственности своего населения, земство может открыть в селах отделы общества «Сокол», поддерживая приличным пособием его существование <...> и информационную<sup>6</sup>.

Крамарж и его единомышленники считали основной задачей сближение позиции русской и польской делегаций, которых разделяло отношение к статусу Польши в пределах Российской империи; русских же представителей занимала проблема немецкой экспансии, в частности наступление Австро-Венгрии на Балканах. По обоим вопросам — вследствие компромиссов и осторожности делегатов — никаких серьезных решений не было принято. Крамарж на пленарном заседании съезда позволил себе очень осторожную формулировку: «Мы хотим только чувствовать себя единым великим целым, спаянным совместными культурными интересами, чтобы, разделенные, враждующие между собой, мы не падали один за другим под натиском энергичной, планомерно организуемой, культурной и экономической экспансии»<sup>7</sup>. Это не препятствовало некоторым австронемецким газетам подчеркивать, «что съезд преследовал не столько “всеславянские”, сколько антинемецкие цели»<sup>8</sup>.

Тем временем, в сентябре 1908 г. главы дипломатических ведомств двух центрально-европейских монархий — А. П. Извольский и А. фон Эренталь — вели переговоры о Боснии и Герцеговине, приведшие к предварительным и не очень ясным результатам, но 7 октября 1908 г. Эренталь объявил об аннексии в качестве свершившегося факта. Сербия выступила с резким протестом, а русская общественность — в силу традиционных симпатий к Сербии и с ощущением венской измены — расценила аннексию как самовольное присвоение славянских земель. Германия, несмотря на нежелание вступать в прямую конфронтацию с Россией, твердо поддержала Австрию. К весне 1909 г. аннексия была признана мировым сообществом, в том числе правительствами Сербии и России. Оппозиционные русские публицисты писали о «дипломатической Цусиме». Изображали происшедшее как унижительное поражение России. Наряду с искренним чувством обиды, тут действовали и политические факторы: желание оппозиции подчеркнуть и преувеличить новую неудачу «царского правительства» и стремление сторонников англо-французской ориентации — углубить расхождения между Россией и Германией<sup>9</sup>.

В самом деле, именно после боснийского кризиса стало очевидно, что Россия, Англия, Франция, с одной стороны, и Германия, Австрия,

с другой, образовали два враждебных лагеря, готовые вступить в большую войну.

«Воззвание к славянам студентам» Хлебникова, которое позднее актуализировал Маяковский, строилось на политических реалиях 1908 г.:

Славяне! В эти дни Любек и Данциг смотрят на нас молчаливыми испытателями — города с немецким населением и русским славянским именем... Ваши обиды велики, но их достаточно, чтобы напоить полк коней мести — приведем же их и с Дона, и Днепра, с Волги и Вислы. В этой силе, когда Черная Гора и Белград, дав обет побратимства, с безумством обладающих жребием победителей по воле богов, готовые противопоставить свою волю воле несравненно сильнейшего врага, говорят, что дух эллинов в борьбе с мидянами воскрес в современном славянстве, когда в близком будущем воскреснут перед изумленными взорами и Дарий Гистасп и Фермопильское ущелье и царь Леонид с его тремястами. Или мы не поймем происходящего, как возгорающейся борьбы между всем германством и всем славянством? Уста наши полны мести, мечь капает с удил коней, понесем же как красный товар свой праздник мести туда, где на него есть спрос — на берега Шпрее. Русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина. Мы это не забыли, мы не разучились быть русскими. В списках русских подданных значится кенигсбергский обыватель Эммануил Кант. Война за единство славян, откуда бы она ни шла, из Познани или из Боснии, приветствую тебя! Гряди! Гряди, дивный хоровод с девой Словией как предводительницей горы. Священная и необходимая, грядущая и близкая война за попранные права славян, приветствую тебя! Долой Габсбургов! Узду Гогенцоллернам!<sup>10</sup>

Н. И. Харджиев посвятил статье Маяковского из «Нови» специальную работу, где, в частности, утверждал:

В статью «Россия. Искусство. Мы» Маяковский почти дословно включил «Воззвание к славянам» Хлебникова. <...> под этим воззванием, написанным в связи с аннексией славянских земель Боснии и Герцеговины и вывешенным 14 октября 1908 г. в коридоре Петербургского университета, авторская подпись отсутствует (см. газету «Вечер», 1908, 15 октября). 16 октября в той же газете был опубликован полный текст воззвания как коллективного обращения учащихся славян. Пользуюсь случаем исправить опечатку в «Воззвании», повторенную и в статье Маяковского «Россия. Искусство. Мы»: «Гряди, дивный хоровод с девой Словией...». Правильное чтение: «с девой Славией». Ср. в статье Хлебникова «Западный друг» (1913): Вокруг белолицей Славии с криком «никогда» <...> носится ворон Австрии. Образ белолицей девы Славии восходит к известной поэме Яна Коллара «Дочь Славы» (Slavy Dcera)<sup>11</sup>.

Верное замечание Н. И. Харджиева о происхождении образа Славии вызвало возражения А. Е. Парниса, который писал:

Однако здесь опечатка — мнимая, Хлебников пользовался одновременно двумя формами написания этого слова: белоликая Славия <...> и Словия для

славян (как явствует из неизданной мнемонической записи, относящейся к «славянскому вечеру» (весна 1913 г.), в котором участвовал сам поэт <...>). В последней формуле Хлебников строит звуковую метафору на характерном для него принципе внутреннего склонения и возводит Словию не только к «славянам», но и к «слову». Неубедительно также утверждение Харджиева, что образ Славии (Словии) «восходит к известной поэме Яна Коллара «Дочь Славы»». Как известно, поэтический образ Славии, выступающей в роли богини, покровительницы славян, был широко распространен в чешской и словацкой традиции начала XIX в., прошел через всю литературу эпохи национального возрождения и более позднего периода (приводятся ссылки на послевоенные (1940-х-1960-х гг.) словари чешского и словацкого языков — Л. К., М. О.), а также использовался как символ всего славянства в неославянофильской литературе начала XX в. в России. В приведенной цитате Хлебников слил образ Славии (Словии) с образом вилы, которая в белых одеждах ведет хоровод<sup>12</sup>.

Действительно, образ богини Славии встречается не только в поэме «Дочь Славы»: так, еще в пасторали «Вила Словинка» (1614) хорватский писатель Ю. Баракович описывает свое путешествие по окрестностям Шибеника и встречу с прекрасной фантастической девой (виллой) — Словинкой, рассказавшей о происхождении славян и их языке. Однако именно Ян Коллар (1793–1852), словак по происхождению, подданный австрийского императора, словацкий и чешский поэт, публицист, придал образу характер мифологемы в поэме «Дочь Славы». Эта поэма в пяти песнях (первое издание — 1824), состоявшая из внушительного числа сонетов (в наиболее полном издании 1852 г. их было 645), декларировала, что славяне — единый народ, у которого существуют четыре «ветви» (чешская, русская, польская, иллирийская, т.е. южная), и на протяжении XIX столетия функционировала как авторитетнейшая «энциклопедия» идей «славянского единства». В частности, сонет 5 четвертой песни содержит видение Славы (перевод Ю. Нейман)<sup>13</sup>:

Мать Слава, опершись рукой о трон,  
 среди небес блистает неустанно  
 своею мантиею звездотканной,  
 своей короной четырех племен.  
 У ног ее лежат коврами страны,  
 величьем лик богини осенен.  
 В деснице — скипетр, шуйцей гром взметен,  
 превыше туч она главой венчанной.  
 Так вознеслась и станом, и челом  
 богиня, что ее орлиный взгляд  
 объемлет небо звездное кругом,  
 когда, вкушая материнства сладость,  
 стоит она среди любимых чад,  
 вокруг нее сплоченных ей на радость.

И хотя богиня Славия — как «символ всего славянства» — не может трактоваться как чья-либо исключительная интеллектуальная «собственность», она бесспорно подразумевает отсылку к имени Коллара. Отвечая А. Е. Парнису в споре о Славии и Словии, Х. Баран отметил:

«Оставляя в стороне вопрос о датировке отдельных записей в тетради и о вероятности использования Хлебниковым менее понятной лексемы в документе, предназначенном для широкой аудитории, заметим, что образ девы (богини) Славы (Славии) приобрел широкую известность благодаря успеху поэзии Коллара и что более поздние авторы-славянофилы постоянно цитируют своих предшественников, создавая таким образом дополнительный механизм передачи традиции»<sup>14</sup>.

Х. Баран цитирует также некий материал 1913 г. из газеты «Славянин», где акцентируется тождество этнонимов «славяне» и «словяне»:

Наше племенное название многие производили от «слова»: словяне — это те, кто пользуются словом, в отличие от тех, кто не понимает нас и которых мы называли немцами, т.е. немymi. Старый патриарх славяноведения, чешский аббат Добровский, сказал: «Царство Славии — это царство Бога-Слова». <...> Другие производили наше название от «славы». Мы не словяне, а славяне, толковали они. Но и «слово», и «слава» производятся от одного корня «слыть».

Так что обыгрывание Хлебниковым пары слово/слава также имеет свою традицию<sup>15</sup>.

Равным образом, имело свою традицию мифологическое использование имени «Слава» («Славия») в русской публицистике и общественной жизни начала XX в., сигнализируя как об идее «славянской взаимности», так и, разумеется, о Колларе — ее известнейшем пропагандисте. Во время Первой мировой войны существовало общество «Славия», а хорват К. Геруц в 1916 г. мечтал об утверждении «фундамента будущей великой России, что значит «великой Славии»<sup>16</sup>.

## 2

Политические события 1912–1913 гг. снова — вслед за аннексией Боснии и Герцеговины — «наэлектризовали» проблему «славянского единства»: Болгария, Черногория, Сербия и Греция ведут на Балканах войну с Турцией; германский рейхстаг в этой связи обсуждает военные вопросы. Для биографии Хлебникова это оказалось значимым тем, что «он впервые вышел к широкому читателю»<sup>17</sup>. Действительно, словенский литератор Янко Лаврин, познакомившись с Будетлянином на рубеже 1912–1913 гг., ввел его в круг «политической беспартийно-прогрессивной» газеты «Славянин», «орган духовного, политического и экономического сближения славян» (согласно демон-

стративному заявлению издателя, газета летом 1913 г. прекратила выход в знак протеста против начала второй Балканской войны, где в борьбе за «турецкое наследство» схлестнулись славянская Болгария с коалицией государств, возглавляемой славянской же Сербией<sup>18</sup>). В 1913 г. Хлебников, работая в непривычном для себя «газетном» жанре, опубликовал здесь под своей фамилией три статьи: «О расширении пределов русской словесности», «Кто такие угророссы?», «Западный друг», — и под криптонимом В-кий рассказ «Закаленное сердце (Из черногорской жизни)» (о сотрудничестве Хлебникова с Я. Лавриным и с газетой «Славянин» см. А. Е. Парниса<sup>19</sup>).

Показательно, что в статье «Западный друг» (наряду со словами о белолицей Славии, которые цитировал Харджиев) Хлебников воспроизвел еще один топос, маркирующий поэтику «славянской взаимности». Он писал в 1913 г.:

Мы видим, что главным занятием западного соседа за 1000-летний срок было истребление северо-западных славянских государств. Живая тевтонская держава стоит на «городе мертвых» славянских государств<sup>20</sup>.

(Ср. «Воззвание» 1908 г.: В эти дни Любек и Данциг смотрят на нас молчаливыми испытателями — города с немецким населением и русским славянским именем.) Это явно перекликается с излюбленными идеями деятелей чешского национального возрождения, в частности — Коллара, который сетовал в программном вступлении к поэме «Дочь Славы», написанном вне сонетной формы<sup>21</sup>:

Давно ли нежный голос Славии звучал  
От пенных Балта волн до синего Дуная,  
И от предательского Лаба до равнин  
Неверной Вислы! Ныне он уж онемел...

Особенно богата «славянскими» мотивами программная статья «О расширении пределов русской словесности». Хлебников, горестно перечисляя «славянские» темы, не освоенные русской литературой, в частности, говорит, что ей совсем не известен <...> великий рубеж 14 и 15 века, где собрались вместе Куликовская, Косовская и Грюнвальдская битвы, и этот рубеж, по мнению Будетлянина, ждет своего Пржевальского (Тв. 1986, 593).

Согласно справедливому замечанию исследователя<sup>22</sup>, сам Хлебников язык великих битв реализовал в двух поэтических миниатюрах, опубликованных в 1913 г. в сборнике «Требник троих» (СП 2, 274):

1  
От Косова я Дружины свой бег  
Злой продолжали на трупах

Ворог колол, резал и сек  
Павших от ужаса глупых.

2

От Грюнвальда. — Истуканы  
С серым пером на темени  
В рубахах медных великаны  
Бились с рожденным на Немане.

Здесь рифмуются великие славянские битвы: битва на Косовом поле православных сербов с турками (1389) и Грюнвальдская битва поляков — в союзе с литовцами и русскими полками — с немцами (1410). Турки и немцы выступают как варианты вековечного «ворога», которые в первом случае одолели павших от ужаса глупых, а во втором были побеждены обретшими мужество славянами.

В поэме «Дочь Славы» сходным образом построен 92 сонет третьей песни (пер. Н. Горской)<sup>23</sup>:

В году я знаю три печальных дня,  
в те дни мой тяжкий стон летит горе:  
Святого Вита день — в календаре —  
паденьем Сербии вошел в меня.  
Октябрь. Я в доме не зажгу огня,  
в слезах, во мраке к Белой мчусь Горе...  
И снова горько плачу в октябре,  
в тот день, когда, на землю пав с коня,  
и кровью истекая, и скорбя,  
Костюшко, мною чтимый, повторял:  
«О Польша, Польша! Кто спасет тебя?..»

Переживание Колларом трагических для славянства дат — 15 июня 1389 г. (Косово поле), 8 ноября 1620 г. (битва под Белой Горой), 10 октября 1794 г. (разгром повстанцев Костюшко русскими войсками при Мацеевицах) — подкреплялось установившейся среди австрийских славян практикой отмечать «национальные торжества, связанные с годовщинами памятных сражений или юбилеями выдающихся личностей»<sup>24</sup>.

Согласно логике «славянской взаимности», подразумевающей «борьбу между всем германством и всем славянством», воинственные строки в стихах Хлебникова времен мировой войны и в давнем манифесте направлены против немецких государств — Австро-Венгрии и Германии (Долой Габсбургов! Узду Гогенцоллернам!; разница в чаемой на 1908 г. мере наказания объясняется тем, что Австрия аннексировала Боснию и Герцеговину, а Германия ее только поддерживала). И в поэме «Война — Смерть», относящейся к тому же 1913 г.,



германцы традиционно осмысляются как «немые», что подразумевает противоположность «славянам», народу «слова» (СП 2, 187):

Немотичей и немичей  
Зовет взыскующий сущел,  
Но новым грохотом мечей  
Ему ответит будущел.

Ср. также (СП 2, 275):

Немь лукает луком  
немным  
в закричальности зари!  
Ночь роняет душам темным  
Клича старые: гори!

Изучение топики «славянской взаимности» (по классическому колларовскому изводу) в статье «О расширении пределов русской словесности» позволяет интерпретировать несколько хлебниковских «темных мест».

Как известно, шестой «парус» «сверхповести» «Дети Выдры» (1911–1913) представляет собой «диалог», в котором участвуют великие люди древности: к Ганнибалу и Сципиону здесь последовательно присоединяются князь Святослав, Пугачев, Ян Гус, Ломоносов, Разин, жертва биреновщины А. П. Волынский, Н. Коперник и т.п. Это великие (за исключением карфагенского и римского полководцев) славяне: повстанцы, политики, ученые, народные вожди. В их сонм (вслед за Пугачевым и перед Гусом) неожиданно замешался персонаж по имени Самко, произносящий небольшой монолог (Тв, 1986, 452):

Я жертвой был течений розных,  
Мои часы шли раньше звездных.  
Заведен люд на часы.  
Чашкой гибели весы  
Наклонились ко мне,  
Я упал по звезд вине.

Самко явно уступает по историческому рейтингу своим собеседникам, и его имя нуждалось в разъяснениях. Н. Л. Степанов, составляя комментарий ко второму тому довоенного собрания сочинений, указывал, что Самко — «полковник переяславского казацкого полка, долго добивавшийся гетманства в эпоху смут после смерти Богдана Хмельницкого. Был избран гетманом (1660 г.), но, принеся присягу Москве, он перешел на сторону поляков и был обезглавлен в 1663 г.» (СП 2, 315). Аналогичный комментарий приведен в последнем авторитетном

издании, где только добавлено, что фамилия И. С. Самко известна также в варианте Сомко (Тв, 1986, 693). «Украинское» толкование согласуется с трагическим пафосом монолога Самко, но никаких ясных оснований комментаторы не приводят. А жаль: выбор кандидатуры И. С. Самко может вызвать сомнения. Один из многих участников усобиц, последовавших после смерти Богдана Хмельницкого, он не настолько значимая фигура, как остальные славянские знаменитости шестого «паруса», да к тому же непонятно, почему Хлебников (согласно комментаторам) должен был сочувствовать украинцу, который, «принеся присягу Москве», затем «перешел на сторону поляков». Показательно, что сам автор комментария Н. Л. Степанов (а вслед за ним другие специалисты), анализируя «сверхповесть», по мере возможности избегают называть переяславского полковника среди действующих лиц «паруса»<sup>25</sup>. Напротив, украинские исследователи столь же показательно упоминают Самко/Сомко, подчеркивая его «украинскость»: «Паливода, Самко, Остранница, Олелько, Сирко, Байда, Кобзарь, Морозенко, Костомаров, Шевченко, — украинские “герои” (Б. Рубчак) Хлебникова и, вместе с тем, — атланты возводимого Хлебниковым Храма Времени — Башни Будетлянской»<sup>26</sup>.

В универсальном контексте «Детей Выдры» уместно предположить, что Самко отнюдь не второстепенный украинский политический деятель XVII в., но Само — повелитель первого исторически зафиксированного славянского государства. И в статье «О расширении пределов русской словесности» Хлебников писал о нем, констатируя, что русской литературе совсем не известен <...> Само, первый вождь славян, современник Магомета и, может быть, северный блеск одной и той же зарницы <...> (Тв. 1986, 593). Причем, в комментариях уточняется, что если в печатном тексте «Славянина» имя славянского вождя читается (как оно и принято) «Само», то в рукописи Хлебникова — Самко (Тв. 1986, 705). Именем Самко — так же, как в «сверхповести» и в статье «О расширении пределов русской словесности» — этот исторический деятель назван в черновике статьи, предназначавшейся, по мнению комментатора, для газеты «Славянин»<sup>27</sup>. Перечисляя памятники, которые необходимо поставить замечательным людям, Хлебников призывал не упустить: Памятник Самко — первому борцу с немцами<sup>28</sup>.

Исторические сведения о Само крайне скудны, но современником Магомета он, по крайней мере, был. Согласно так называемой «Хронике Фредегара», продолжающей историю франков Григория Турского, славяне в 623 г. взбунтовались против аварского кагана, к ним присоединился некий торговец (neguscians) Само «из народа франков» (natione Francos), который, заслужив предприимчивостью восхищение соратников, стал королем (rex) первого славянского государства на территории Европы; Само удачно правил тридцать пять лет, в частности

одерживая победы над могущественным повелителем франков Дагобертом<sup>29</sup>. Специалисты азартно спорят: 1) об этнической принадлежности Само (славянин, франк, романизированный кельт-галлоримлянин); 2) о местности, откуда он родом (город Санс, к юго-востоку от Парижа, Бельгия, Нижняя Франкония); 3) о пределах его «королевства» (минимум: район Южной Моравии/Нижней Австрии/Юго-Западной Словакии, максимум: Европа от моря до моря с севера на юг)<sup>30</sup>.

При всех возможных интерпретациях бесспорно одно: Само — в особенности для чешско-словацкого национального сознания — мифологически значимый «первовождь», «отец народа» вроде тевтобургского победителя Арминия. Соответственно, для российского исторического сознания имя Само не имело такого авторитета, фигурируя скорее в заимствованной у западных славян версии поэтики «славянской взаимности». Коллар это имя предсказуемо мифологизирует. В сонете 54 третьей песни, где поэт спорит с хулителями предков славян, он их опровергает славными именами российского императора Петра, «высшего вождя» Само, хорвата Николы Зринского, сражавшегося вместе с венграми против турок в XVI в., Гуса и Коперника<sup>31</sup>. Отнюдь не квалифицируя сонет Коллара как единственный источник персоналий шестого «паруса», тем не менее, отметим черты сходства между списками знаменитых славян.

Упоминание о Само — свидетельство приобщенности Хлебникова к мифологии «славянской взаимности»: очевидно, этот правитель для него зарница, предзнаменование будущего славянского величия, первый борец с немцами. Потому-то в «Детях Выдры» часы Само идут раньше звездных — правитель первого славянского государства, он оказался в трагическом одиночестве.

Более того, имя Само переосмысливается по законам хлебниковского языкотворчества, воздействуя своими корневыми ассоциациями на важнейшие категории его мировоззрения. Это имя теоретически может восприниматься как производное от местоимения «сам» (Само — «самодержец»), мотивируя возможность торжественного именованья славян и/или единомышленников председателя земного шара: осознавая свою высокую миссию, они все превращаются в народ самодержцев, в Самов. Например, в поэме «Война в мышеловке» (правка продолжалась до 1922 г.) существуют строки (Тв. 1986, 459), в которых комментаторы уже предлагали видеть как (менее вероятно) аллюзию на Само, так и ненормативную форму местоимения «сам» (Тв. 1986, 694):

Табун шагов, чугунов слонов!  
Венки на бабра повесим сонно,  
Скачемте вместе. Самы и Самы, нас  
Много — хоботных тел.

Аналогично функционирует имя Сам в стихотворении «Признание» (1922) (Тв. 1986, 171):

Да, но пришедший  
И не Хам, а Сам.  
Грубые бревна построим  
Над человеческим роем.

Комментаторы указывали на схождения этого образа (ср. также в тексте «Будетлянский»: «Мы не в шутку назвали себя “Пришедший Сам”, потому что мы взаправду 1) Сам, 2) Пришедший»<sup>32</sup>) с поэмой «Война в мышеловке» и именем славянского вождя (Тв. 1986, 694); можно также вспомнить здесь о «Советах Самохина», где Самохиным Хлебников, вероятно, именуется себя, и даже об основополагающем термине самовитое слово. Материал, собранный Р. В. Дугановым в одноименной статье<sup>33</sup>, показывает, что история этого словосочетания напоминает другие термины «славянской взаимности». Прилагательное самовитый впервые встречается в словотворческих записях 1907 г., затем термин оформленно фигурирует в программном сборнике «Пощечина общественному вкусу» (1912), чтобы повториться в итоговом тексте «Свояси» (1919): Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова — вот мое первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз (Тв. 1986, 37) — прямо в парадигме «славянской взаимности» (что, очевидно, не исключает других интерпретаций).

Приведенные мифолого-историко-лексические наблюдения требуют поставить вопрос о лингвистическом аспекте хлебниковского извода поэтики «славянской взаимности», а именно о природе ключевых терминов: «слово», «слава», «сла(о)вяне», «немь», «немец», «река», «речь», «сам», «Сам (к)о». Основным источником здесь оказывается фундаментальный «Словарь неологизмов Велимира Хлебникова» Н. Н. Перцовой, тем более что методологические принципы, реализованные в этом словаре, также отражают некую сумму представлений близких Н. Н. Перцовой «велимироведов» о принципах слово- (так и хочется сказать «славо-») творчества Хлебникова.

Автор предисловия к «Словарю» Х. Баран пишет:

В силу характера самого материала в основе каждой статьи в компендиуме Перцовой лежит не акт указания на десигнат — специфический объект, качество, действие, а именно интерпретация, попытка определения морфологической категории и смысла данного хлебниковского словообразования. Следуя поставленной задаче, Перцова оказалась перед необходимостью принимать решение, формулировать объяснения во многих трудных, неоднозначных случаях, от которых ее коллеги велимироведы — и среди них автор этих

строк — благоразумно уклонялись. Сам жанр словарной статьи — в отличие от литературоведческого анализа в книге или журнале — заставляет высказаться даже там, где основания для гипотез являются довольно шаткими<sup>34</sup>.

Слово «Само» находится в статье, помеченной значком, который указывает на сомнения составителя:

«САМ» — С-мо <существительное муж. рода одуш.> МС <мотивирующее слово>: сам АС <ассоциации, т.е. любые слова, которые семантически или формально напоминают рассматриваемое слово>: сам «хозяин» (в просторечии); Самъ, Само <дается ссылка на известный компендиум: Морошкин М. Славянский именовослов или собрание славянских личных имен в алфавитном порядке. СПб., 1867>».

Приведены два примера:

Скачемте вместе, Самы и Самы; Я зову увидеть лицо того, кто стоит на пригорке и чье имя Пришедший Сам<sup>35</sup>.

Словарная статья находится в первом разделе «Словаря неологизмов Велимира Хлебникова», который «содержит морфологически интерпретируемые слова, т. е. слова, которые можно истолковать в соответствии с законами русского словообразования»<sup>36</sup>. Однако подобный подход применительно к слову «Само»/«Самко» сразу вызывает сомнения: не совсем ясно, как можно с научной надежностью «морфологически интерпретировать» имя непонятого происхождения, которое носил персонаж из латинской хроники и которое попало в горнило хлебниковского словотворчества по причинам идеологического и мифологического порядка.

Между тем, будучи действительно «компендиумом», словарь Н. Н. Перцовой поставляет достаточно материала для продуктивной реконструкции лингвистической утопии В. В. Хлебникова. Необходимо только, с сожалением отказавшись от современных «корректных» морфологических методов, обратиться к идеологическим конструктам, которые лежат в основе как поэтического словаря Хлебникова, так и словарных или литературных источников, которыми пользовался Будетлянин. И важнейшим источником этого рода был, разумеется, «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля<sup>37</sup>.

Н. Н. Перцова, упоминая словарь Даля, пишет:

При сугубо формальном подходе к неологизмам следует относить те и только те слова, которые отсутствуют в словарях данного языка. Естественно, при составлении словника хлебниковских неологизмов были использованы все доступные нам словари русского языка — и прежде всего, словарь В. И. Даля <...>: как известно, Хлебников внимательно изучал этот словарь и брал из него многие редкие слова (*быльняк, дахарь, другиня, навь, ржаница, волить,*

лукать, мирковать, разникнуть); некоторые используемые Хлебниковым слова из этого словаря органично вписываются в гнезда однокоренных хлебниковских неологизмов, ср. такие имеющиеся у Даля слова, как *людин, людина, людовитый*. Однако мы отказались от чисто формального подхода к выделению неологизмов и пользовались неким дополнительным, интуитивным критерием: для того, чтобы слово было отнесено к неологизмам, оно должно не только отсутствовать в словарях, но и восприниматься носителем языка как незнакомое. Как выразился однажды В. Шершеневич, неологизмы — это слова, за которые «задевает» «рубанок мысли»<sup>38</sup>.

Сверяя «славянский» тезаурус Хлебникова с «Толковым словарем» Даля, логично начать анализ со статьи «славянство». По Далю, «Славянство, славянщина, славенщина, словенщина, славянский мир, быт, народ, язык, обычай. Изучать славянщину, наречия славянские, старину, памятники, предания, бытописания. Часть задунайской славянщины отуречилась, а полабская онемечилась. Во времена Шишкова у нас господствовала славянщина, переделка русского языка на церковный». Это цитируется второе издание «Толкового словаря». А ведь известно, что в 1903 г. начал выходить еще один «Даль»: «Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Третье, исправленное и значительно дополненное издание под редакцией проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ». Призванное исправить лингвистические вольности Даля, издание Бодуэна де Куртенэ, повышая научную корректность, одновременно отчасти лишало «Словарь» мифогенности. И при изучении языковой системы Хлебникова следует учитывать оба издания: памятуя о роли Бодуэна де Куртенэ в истории футуризма, едва ли возможно, что Будетлянин прошел мимо и его версии «Толкового Словаря». В своем варианте Бодуэн де Куртенэ заменяет статью «Славянство» на статью «Славянофил»; воспроизводя статью «Славянство», он предварил текст В. И. Даля важной дефиницией, актуальной для Хлебникова: «славянофил» — «дающий предпочтение славянам перед другими народами; обруситель во имя единства славян...».

«Толковый словарь» Даля ясно показывает, что «этимологизация», связывающая этноним «славяне» одновременно со «словом» и «славой» (которая в связи с Хлебниковым вызвала столько научных споров), безоговорочно декларировалась и самим классиком лексикографии в статье «Слово»: «Слово, слава, слыть, слух и пр. одного корня; славить, славословить, стар. словити, одно и то же». Бодуэн де Куртенэ, приводя эти квази-«этимологические» цепочки, выражает сомнение, ставя знак «(!)», т.е. ложное этимологическое объяснение». Однако Хлебников — при его масштабных построениях — не должен был смущаться подобными узко-научными «мелочами».

Логика статьи «Слово» жестко ведет к другой категории «славянского единства» — «немец»/«немой»: «Слово ср. исключительная способ-

ность человека выражать гласно мысли, чувства свои; дар говорить, сообщаться разумно сочетаемыми звуками; словесная речь. Человеку слово дано, скоту немота». Как нетрудно убедиться, с одной стороны, мы получаем единство «слово»/»речь»/»немота», с другой, «славить», «славянин»: ср. в подразделе «Словесный» — «словесное существо, одаренное речью, словом, человек», с пометкой: «противоположное бессловесное, тварь, скот». Понятно, что в статью, которая открывается прилагательным «немой, от природы лишенный речи, языка или слова», попадает этноним «немец»: разумеется, Бодуэн де Куртене помещает эти слова в разные статьи. Собственно, здесь содержится «славянский» топос о «борьбе между всем германством и всем славянством» как борьбе народа «немого» и «словесного» — только в специфическом конспективном варианте, который задается цитируемой пословицей.

Воссоздание «лингвистического мифа» о славянстве в системе Велимира Хлебникова оказывается возможным при помощи вполне допустимого чтения «Толкового словаря» В. И. Даля, который явно задуман не просто как лексикографический свод, но как текст, на многих уровнях образующий специфическое «смысловое пространство».

Подобное свойство другого классического труда Даля — «Пословицы русского народа» — описано Ю. И. Левиным в статье с терминологически продуманным заглавием «Провербиальное пространство», впервые опубликованной еще в 1980 г. Ю. И. Левин отмечал:

В «Напутном», предисловии к своим «Пословицам русского народа», В. И. Даль писал о сборниках пословиц: «Обычно сборники эти издаются в азбучном порядке <...> Этот способ самый отчаянный, придуманный потому, что не за что более ухватиться. Изречения нанизываются без всякого смысла и связи <...> Читать такие книги нельзя: ум наш дробится и утомляется <...> пестротой и бессвязностью каждой строки...». Эти справедливые замечания Даля — пусть и в несколько меньшей степени — относятся и к сборникам, построенным по тематически-алфавитному принципу, а также к большинству сборников, вообще не использующих алфавитного расположения: «бессвязность каждой строки», т.е., если не полное отсутствие, то бедность ее связей с соседними, приводит к тому, что ни одна страница, ни один тематический раздел не представляют собой сколь-нибудь связного текста (в лингвистическом смысле слова)<sup>39</sup>.

Приведя некоторые математические аналогии, Ю. И. Левин продолжает:

В терминах нашего (специального, пространственного. — Л. К., М. О.) подхода обаяние и художественность сборника Даля можно объяснить тем, что он предлагает читателю «интересный», осмысленный маршрут путешествия по этому пространству, обусловленный реальным «пейзажем» и «рельефом», тогда как другие, особенно алфавитные сборники предлагают нам лишь случайные, немотивированные скачки по этому пространству, не могущие дать «общей и цельной картины» и обусловленные лишь удобством «экскур-

совода» — составителя (алфавитный порядок) или же просто его неумением составить интересный маршрут. Попутной задачей была для нас констатация близости между паремиологической и лексической системами — не с точки зрения статуса или функции отдельных единиц этих систем, а с точки зрения самой структуры этих систем, тех отношений, которые устанавливаются внутри них (речь идет прежде всего о фундаментальных отношениях синонимии, антонимии и омонимии)<sup>40</sup>.

Соображения о «провербиальном пространстве» и «близости между паремиологической и лексической системами» позволяют поставить задачу, которая выходит за пределы паремиологического анализа. Действительно, с этой точки зрения нетрудно отметить, что «Толковый словарь» Даля подчиняется, по крайней мере, трем принципам: он располагает слова в алфавитном порядке («своеобразие» которого не мог принять лингвист нового поколения Бодуэн де Куртенэ, пытавшийся сделать его в своем издании чуть менее экзотичным), а также включает ряд нередко весьма идеологизированных толкований слов и жестко с ними связанный огромный паремиологический свод, который образует «интересные маршруты». Эти «маршруты» могут быть обозначены хотя бы постольку, поскольку на них обращали внимание поэты «серебряного века». Ранее нам приходилось анализировать при помощи такого инструментария «Стихи о неизвестном солдате» О. Э. Мандельштама<sup>41</sup>, где «интересный маршрут» поэта по «Толковому словарю» Даля диктовался библейской «Симфонией». В случае же с Хлебниковым на свод Даля накладывается тезаурус «славянского единства», который, естественно, не исчерпывается приведенными примерами.

К великому сожалению, Н. Н. Перцова «нарушила» «правило Даля-Левина». Она жестко распределяла неологизмы Будетлянина согласно логике «алфавитного порядка» и в то же время согласно «корректным» современным морфологическим представлениям, что нечаянно нарушило лингвистически спорную, но мифологически стройную систему «Толкового словаря», которую на свой лад актуализировал Хлебников (об ограниченности «морфологического» подхода применительно к словотворчеству Хлебникова см. В. П. Григорьева<sup>42</sup>). Показательно, что Бодуэн де Куртенэ также с точки зрения академического языкознания «корректировал» текст Даля, но ведь у него не было цели изучать «поэтический язык» (да Н. Н. Перцова и сама апеллирует к «дополнительному, интуитивному критерию»).

Очевидно, «Словарь неологизмов» (как и гипотетический «поэтического языка») Велимира Хлебникова — при всей безумной трудности его грядущего составления — должен основываться как на лингвистических, так и на «идейных» положениях, что единственно обеспечит возможность для исследователей адекватно «путешество-



вать» по миру Будетлянина. И «славянский» тезаурус сыграет здесь едва ли не главную роль.

Знаменательно, что художественные эксперименты Коллара — благодаря его аналогичным устремлениям в рамках поэтики «славянской взаимности» — также имели лексикографическое измерение. Единомышленник Коллара — Й. Юнгман — составил эпохальный «Чешско-немецкий словарь» (1835–1839), дерзнув (по его собственному выражению) «взять на себя труд, посильный только для всего общества, — на основе книжного языка XVI в. создать лексическую базу для функционально-дифференцированного литературного языка XIX в.»<sup>43</sup>. Разумеется, ставя подобную задачу и закономерно решая ее именно в сопоставительном соревновании с немецким языком, Юнгман не столько фиксировал лексический материал, сколько предавался словотворчеству (в широком смысле): он черпал слова из старинной национальной литературы, родственных славянских языков, сочинений современников, а также «воскрешал» словообразовательные механизмы чешского языка. «А если уж действительно не хватает слов, — размышлял Й. Юнгман, — то почему бы чеху не взять их из других славянских диалектов, от одной матери произошедших? Слова же немецкие чешскому духу противны»<sup>44</sup>. Здесь Юнгману понадобился Коллар: и как сочинитель текстов-источников, и как соратник, проводивший — в полемике с немцами — сходные эксперименты. В «Чешско-немецком словаре» около 600 слов снабжены ссылкой на Коллара и его произведения 45: в их числе — слова, связанные с этнонимами «славяне», «немцы»<sup>46</sup>. «Значительную роль в обогащении “Словаря” сыграло личное словотворчество Я. Коллара. <...> Наиболее известным его неологизмом в современном чешском языке является слово *sizinec*»<sup>47</sup>, т.е. «иностранец», что знаменательно для «славянской» идеологии. Тождественны (или очень близки) хлебниковским и словообразовательные приемы, которыми пользовались Юнгман и Коллар, но это — тема специального исследования.

Х. Баран также отметил и «параллели между программой Й. Юнгмана по обогащению чешского литературного языка лексическим материалом из других славянских языков и одной из задач, перечисленных Хлебниковым в программном письме 1913 г. к А. Е. Крученых: «8) Заглядывать в словари славян, черногорцев и др. — собирание русского языка не окончено — и выбирать многие прекрасные слова, именно те, которые прекрасны»<sup>48</sup>.

В заключение стоит обратить внимание на то, что между языковой утопией Юнгмана-Коллара и современниками Хлебникова, уже упоминавшимися нами в «славянском» контексте, видимо, существовала прямая преемственность (требующая тщательного историко-лингвистического изучения): один из лидеров южнославянского иллиризма

М. Маяр в 1848 г. «предлагал сначала в духе Коллара создать четыре славянских литературных наречия, а затем уже на их основе — общеславянский язык», а Бодуэн де Куртенэ в 1904 г. для съезда славистов предложил тему «О славянском взаимном (международном) языке Матии Маяра и Орослава Цафа», в которой развивал этот комплекс идей<sup>49</sup>.

### 3

Сопоставление Хлебникова и Даля позволяет выявить новую необходимую составляющую поэтики «славянской взаимности» — имя Пушкина как автора оригинальных стихотворений вроде «Клеветникам России» и «Песен западных славян».

Н. Н. Перцова, занимаясь лингвистически «корректным» обсуждением этимологических отношений слов «славяне», «слово», «слава», дает к этому месту интереснейшее примечание: «Парономастическое сближение названных слов дает некий новый смысл — «славяне обладают общим словом и общей славой». Этот традиционный для «славянской» идеи смысл дополнительно иллюстрируется неологизмом Хлебникова Славяной из стихотворения «Поручейное» (СП 2, 264):

В умных лесах правен лесовой,  
В милых водах силен Водяной,  
В домах честен домовой,  
А в народе Славяной.  
Так зыбит, снует молва,  
С нею славен, славен я!

«В этом стихотворении, — продолжает Н. Н. Перцова, — где упомянуты и *слава*, и *молва* (т.е. слово), и персонажи славянской мифологии, неологизм Славяной естественно связывать с основами всех трех слов — *слава*, *слово*, *славяне* (можно вспомнить и мифического Словена или Славена, по имени которого якобы названы славяне). На правомерность соотнесения рассматриваемого неологизма со словами *славяне* указывает и то, что в одной из рукописей (РГАЛИ, ф. 527, оп. 1, 60:25) Славяной встречается в соседстве со словами Русилицель, обрусиллица. Однако дальше на той же странице рукописи читаем: а как в воде водяной / а как в лесу лесной / так в ка (ж)д (ом) народе Славяной — / в душе каждого народа / Славовик — велит, вот / Слович словиня / Родячь духа / Племязь. “Славяной-Слович” каждого народа — это уже не только общность слова и славы, родство духа; незначительное изменение контекста влечет сдвиг смысла неологизма».

Обратившись к статье «Лес» из «Толкового словаря», нетрудно обнаружить прямой источник стихотворения Хлебникова — пословицу «Домовой тешится, леший заводит, а водяной топит», которая у Даля

находится в окружении ряда подобных, образуя плотное «провербальное пространство» (ср. многочисленные приемы композиционного построения стихотворений Хлебникова, когда он практически точно следовал какому-либо фольклорному или архаическому источнику: в стихотворении «Ночь в Галиции» 1913 г. поэт даже «честно» сообщает, что русалки держат в руке учебник Сахарова и поют по нему (СП 2, 200), т.е. в песнях нежити «использованы ведьмовские песни и заклинания, помещенные в старой книге И. Сахарова (“Сказания русского народа” СПб. 1841 г.)» (СП 2, 316)).

Далее: стихотворение, озаглавленное неологизмом «Поручейное», для которого Н. Н. Перцова указывает в качестве основы слова «ручей» и «поручать», увязывает «Славянство», «Русь» (см. рукописные материалы, приведенные Н. Н. Перцовой) с «ручьями» (и милыми водами), намекая на идеологически маркированную ассоциацию слов «реки» (ср. в далевской статье «Река» определение: «...поток водный, проточная по земляному ложу вода, большего объема, чем речка и ручей») и «речи». «Маршрут» от «рек» к «речи» присутствует в статье «Толкового словаря» «Речи», где «речи» в одном из значений — «слово, проповедь, устное обращение к слушателям, наставление, поучение, рассуждение, изложение, объяснение чего, по случаю. <...> В Акад. Словаре речение, речевитый (ср. самовитое слово. — Л. К., М. О.) и речь, речистый! Если гл<аголы> пишут: *рещи, речи, реку*, то конечно будет: *речь, речник, речистый. Река, речной*, вероятно, того же корня, но отшатнулось и стоит по себе <...>».

Бодуэн де Куртенэ, естественно, поставил здесь в очередной раз значок сомнения: действительно, тождество «реки» — «речи» этимологически дискуссионно (мягко говоря), зато продуктивно идеологическими импликациями. Оно может быть убедительно истоковано как «квазицитата» из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России», где «славянские ручьи» «солятся в русском море», что, собственно, и создает финальный контекст неологизма Поручейное и всего этого текста. Хлебников, он — «Сам», и «Самохин», и «Славянин», и «Речетворец», и «Речник»

Мы в специальных работах пытались ранее показать, что «водные» образы стихотворения «Клеветникам России» — «славянские ручьи», «русское море» — восходят к «речной» мифологии в поэме «Дочь Славы»: Коллар воспеваает реки, где обитали или обитают славяне — Сала (Зале), Лаба (Эльба), Дунай (а также мифологические Ахерон и Лета, у которых помещены «святые» и «грешники», в их числе «святой» Пушкин, «грешник» Дантес и т.п.), представляя видение славянских народов-потоков, которым предстоит соединиться. Но и вне осознания связи Пушкина с Колларом специфические обертоны «славянской» идеи в его произведениях были вполне различимы для литераторов

начала XX в. Это превращало имя Пушкина в знак «славянского» кода (в ряду многих других кодов), придавая ему вес в политических баталиях и дискуссиях. Пушкинский образ «русского моря» мобилизован в программных текстах из газеты «Славянин», где, например, в статье «Западный друг» Хлебников использовал его при «лобовом» описании извечного противостояния славянства и германства: В области духа идет насыщение русского моря немецкими солями и коварная борьба с теми, кто не хочет своему племени положения вечных учеников и младенцев (ср. в ранней статье «Курган Святогора» (1908): Русская слава вторила чужим доносившимся голосам и оставляла немым северного загадочного воителя-море. И самому великому Пушкину не должен ли быть сделан упрек, что в нем звучащие числа бытия народа — преемника моря, заменены числами бытия народов — послушников воли древних островов (Тв, 1986, 579)).

С заглавием «Морской (так!) прибой» включено в «Изборник» В. В. Хлебникова стихотворение, которое — в этом контексте оказывается своего рода умозаключением, построенным по формуле от единства языков — к народному единению (Изб, 24):

О день и дзен и динь!  
Нуочь и ночь и ничь!  
Всеобщего единства.

В поэме «Война — Смерть» Хлебников, ссылаясь на пушкинское стихотворение, снова актуализирует славянский «речной» ряд (Тв, 1986, 190):

И каждого мнестр и мнестр,  
Как в море русское, струился в навину,  
Дух совести был в каждом пестр  
И созидал невинному вину.

Ср. также славянские реки в стихотворении «Смерть в озере» (предположительно 1915 г.) (Тв. 1986, 96):

Слушай: смерть, пронзительно гикнув,  
Гонит тройку холодных коней.  
И, ремнями ударив, торопит  
И на козлы, гневна вся, встает,  
И заречною конницей топит  
Кто на Висле о Доне поет <...>.

«Речной» ряд и его контекст здесь поразительно близки манифесту 1908 г., в котором речь шла о собирании всадников с Дона и Вислы для защиты от иноземцев Белого Града и Черной Горы. В духе формул

русской патриотической словесности Хлебников явно ассоциировал мощь отечественного оружия с казачьей конницей, приносящей победу русскому знамени и одновременно свободолюбивой, как, например, в раннем стихотворении «Мы желаем звездам тыкать...», где перечислены Ермак, Острица, Платов и Бакланов — славные атаманы XVI, XVII, XIX вв. (СП 2, 15):

Будьте грозны как Острица,  
Платов и Бакланов,  
Полно вам кланяться  
Роже басурманов.  
<...>  
С толпою прадедов за нами  
Ермак и Ослябя.  
Вейся, вейся, русское знамя,  
Веди чрез сушу и чрез хляби!

Казачий перечень в стихотворении «Мы желаем звездам тыкать...» нарушен только именем Осляби, которое порождает столь же символически нагруженные исторические ассоциации с Куликовской битвой: напомним, что по логике статьи «О расширении пределов русской словесности» Куликовская битва — подобно Косову полю и Грюнвальду — не просто один из эпизодов в славянской военной истории, но своего рода битва битв, символ великого сражения с иноверцами и иноземцами (ср. цикл А. А. Блока «На поле Куликовом», 1908 г.).

Аллюзии на «славянского» Пушкина переплетены с батальными образами в поэме «Любовь проходит грозным смерчем...» (1911–1912), куда, кстати, вошли строки стихотворения «Мы желаем звездам тыкать...» (Тв, 1986, 593):

О, дикое небо, быть Ермаком,  
Врага Кучума убивать <...>  
<...>  
Перед тобою, Ян Собеский,  
Огонь восторга бьется резкий.  
И русские вы оба,  
Пускай и «нет» грохочет злоба.  
<...>  
Так не склоню пред вами я колен,  
Судители России.

Победитель турок, польский король Ян Собеский (которого, разумеется, в качестве замечательного славянина прославлял Коллар), уравнен с Ермаком: они оба сражались с иноземцами, а потому (по логике Хлебникова) они — русские вопреки давней вражде их «пле-

мен» и вопреки наветам судителей/«клеветников, врагов России» (о цитировании Хлебниковым в поэме стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинской годовщины» см. комментарий (Тв. 1986, 680)). Не исключено, что образы героических юношей-соколов в поэме «Любовь проходит грозным смерчем...» — с учетом тезауруса «славянской взаимности» — могут быть связаны с названием славянского молодежного общества «Сокол».

Имя Пушкина оказывается включенным не только в прямо агитационные, но и в более замысловатые идеологические построения. Как известно, в общественном мнении накануне Первой мировой войны футуристы — новаторы и разрушители — осознавались как антоним Пушкину, воплощению традиции и классики. Особенно часто футуристические ораторы на шумных лекциях и вечерах противопоставляли Пушкину самого Хлебникова. На этом фоне Хлебников создает конструкции, где его оппоненты — ложные наследники Пушкина — побиваются при посредстве Пушкина же.

В частности, Хлебников выдает литературных противников за врагов всей России, «кодируя» их через заглавие знакового пушкинского стихотворения. Согласно черновой записи 1912 г., в зверинце «клеветников России» состоят: Мережковский, Арцыбашев, Сологуб, Ремизов.

Аналогично в декларации, датированной специалистами весной 1913 г., Хлебников писал:

Мы требуем раскрыть пушкинские плотины и сваи Толстого для водопадов и потоков черногорских сторон надменного русского языка. <...> Помимо завываний многих горл, мы говорим: «И там и здесь одно море» (СП 5, 187).

Пушкинские плотины и сваи Толстого, ограждая сепаратизм русского языка, препятствуют «вливанию» из других славянских языков, необходимость которого основывалась на лингвистической утопии «славянской взаимности», символизируемой «славянскими ручьями» и «русским морем». А. Е. Парнис, комментируя эту декларацию в рамках «славянской» парадигмы, справедливо констатирует:

Декларативный тезис Хлебникова, внешне направленный против классиков — Пушкина и Толстого, против их языковых канонов, на самом деле диалектически обращен к их же авторитету, в первую очередь к Пушкину: хлебниковская метафора одно море явно восходит к известному пушкинскому «Славянские ль ручьи сольются в русском море?», а также к традиционному образу славянского (или русского) моря у поэтов-славянофилов.

## 4

Исследователи «славянского» Хлебникова, много сделавшие для реконструкции его «славянских» идей, не решились, однако, посягнуть на одну идеологическую легенду, «освященную» высказываниями самого поэта. А именно: они повторяют версию, согласно которой Будетлянин с начала «бессмысленной» Мировой войны отказался от «крикливых воззваний» в пользу «славянской» программы. Например, по мнению Х. Барана,

Хлебников предвидел войну между Российской и Германской империями еще в 1908 году — в октябре в ответ на сообщение об аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией поэт призывает славян к крестовому походу против Германии <...> Во многих текстах 1908–1914 гг. Хлебников повторяет свое пророчество. Он приветствует предстоящую войну, для него она лишь эпизод в извечной борьбе славянского и германского миров. Свои рассуждения по поводу этого конфликта поэт подкрепляет историческими параллелями, которые присутствуют во многих его произведениях, обуславливая появление как целых сюжетов, так и отдельных образов <...>. Со временем, когда прогнозируемые события обрели черты реальности, оптимизм ранних произведений поэта уступил место горькому антивоенному пафосу <...>.

Однако при расширенном понимании традиции «славянской взаимности» — не только идеологии, но и поэтики — и при учете политической «гибкости» футуристов можно с большой степенью надежности говорить о непрерывности «славянских» интересов Хлебникова и его соратников. Это подтверждается при обращении к истории.

Как уже упоминалось, хлебниковское «Воззвание к славянам студентам» В. В. Маяковский перепечатал в газете в первые месяцы Мировой войны. Публикация предварялась публицистическим «врезом»:

«Если я не устал кричать «мы» «мы» «мы», то не оттого, что пыжится раздувающаяся в пророки бездарь, а оттого, что время, оправдав нашу пятилетнюю борьбу, дало нам силу смотреть на себя, как на законодателей жизни. Сейчас две мысли: Россия — Война, это лучшее из всего что мыслится, а наряднейшую одежду этой мысли дали мы. Да! И много лет назад».

Перед широким читателем Маяковский пользуется случаем аргументировать значение литераторов своего круга как «законодателей жизни», именно апеллируя к их давним заслугам в воспевании «России — Войны».

Аналогичный эпизод литературной тактики футуристов был отмечен Р. В. Дугановым (СС 1, 311; 503). Воинственные строки В. В. Маяковского из стихотворения «Война объявлена!» (20 июля 1914 г.) «Постойте, шашки о шелк кокоток // Вытрем, вытрем в бульварах Вены!» он предлагал сопоставить с неоконченным текстом Хлебни-

кова «Тверской», знаменательно посвященным памятнику Пушкину в Москве (1914):

Мы почерневший кровью нож  
Волной златою осушая,  
Сурово вытря о косы венок,  
<...>  
Несем на запад злобу зенок <...>

Футуристы, актуализируя «листочку» 1908 г., знали, что делали. Начало мировой войны — в значительно большей степени, чем аннексия Боснии и Герцеговины — востребовало идеи «славянской взаимности». Царский манифест 20 июля 1914 г., который торжественно зачитали после молебна — в присутствии Николая II — в Зимнем дворце, гласил:

Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови со славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особой силой пробудились братские чувства русского народа в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования.

Программа «славянской взаимности» годилась и для освещения развернувшихся военных действий на австрийском фронте, о чем свидетельствуют материалы, собранные в книге финского слависта Бена Хеллмана. В своих публицистических выступлениях В. И. Иванов выражал мечту о грядущем воссоединении славянских народов, а К. Д. Бальмонт призывал к глобальной борьбе славянства с германством. В. Я. Брюсов в очерках «Из Варшавы в Ярослав» интерпретировал вторжение русских войск в австрийскую Галицию — Червонную Русь как реставрацию древней Киевской державы. С. М. Городецкий целый раздел поэтического сборника «Четырнадцатый год» (1915) назвал «Червонная Русь». Ф. Сологуб в массовой газете «Биржевые ведомости» напечатал стихотворение «Петроград — Белград», где сплетал аллюзию на знаменитый образ из «Клеветникам России» с символом «Славии»:

Встречай торжественные зори,  
И вместе с братьями молись,  
Чтобы в глубоком русском море  
Все реки Славии слились!..

Кстати, именно в подобной литературной ситуации Хлебников (стихотворение «Воспоминания», датированное 1915 г.) счел возможным причудливо сопоставить победы русских войск над австрийцами



в марте 1915 г. с победами футуристов над традиционалистами-«пушкиньянцами» (Тв. 1986, 95):

Достойны славы пехотинцы,  
Закончив бранную тревогу.  
Но есть на свете красотинцы  
И часто с ними идут в ногу.  
Вы помните, мы брали Перемышль  
Пушкинианской красоты.  
Не может быть, чтоб вы не слышали  
Осады вашей высоты.

Похоже, ловкая активность футуристов в годы Мировой войны, продолжавшая их рекламные успехи предвоенных лет, не ускользнула от внимания наблюдательных современников. Так предположительно может быть интерпретировано знаменитое стихотворение А. А. Блока «День проходил, как всегда...» из цикла «Жизнь моего приятеля»:

День проходил, как всегда,  
В сумасшествии тихом.  
Все говорили кругом  
О болезнях, врачах и лекарствах.  
Друг говорил мне о службе,  
Другой — о Христе,  
О газете — четвертый...  
Хлебников и Маяковский  
Назначили цены большие за книги,  
Так что приказчик у Вольфа  
Не мог их продать без улыбки.  
Два стихотворца  
(Поклонники Пушкина)  
Книжки прислали,  
С множеством рифм и размеров <...>.

Переработанное для позднейшей редакции, ставшей впоследствии канонической, стихотворение приобрело новый вид:

День проходил, как всегда:  
В сумасшествии тихом.  
Все говорили кругом  
О болезнях, врачах и лекарствах.  
О службе рассказывал друг,  
Другой — о Христе,  
О газете — четвертый.  
Два стихотворца (поклонники Пушкина)  
Книжки прислали  
С множеством рифм и размеров.

Имена двух поэтов-футуристов в новом варианте отсутствуют: общая идея стихотворения от этого едва ли пострадала, но нюансы «сумасшествия тихого» существенно трансформировались. Ранний вариант стихотворения (с Хлебниковым и Маяковским), судя по автографам, был написан в 1914 г. Согласно комментариям академического собрания сочинений поэта, имеются черновики двух набросков стихотворения, датированные соответственно «27 авг (уста) 1909» и «20. III. 1914»: «Вероятно, 24 мая 1914 г. Блок, переработав, объединил оба наброска в единое стихотворение. <...> 19 декабря 1914 г. Блок послал стихотворение А. Э. Беленсону для сб. футуристов “Стрелец”, где оно и было впервые опубликовано».

Определение «Стрельца» как «сборника футуристов», по крайней мере, неточно. Наряду с Хлебниковым, Крученых, Маяковским в нем участвовали Блок, Сологуб, Кузмин и т.п. Что, разумеется, и было отмечено рецензентами — «критик-интуит» В. Р. Ховин риторически недоумевал: «<...> “Стрелец” это только публичная женщина, “одетая под гимназистку”, тротуарная проститутка, пытающаяся сойти за “Незнакомку”? Действительно ли это жертвенность или только страничка в жизни “молодящихся старичков» — с одной стороны, с другой — последний трюк исчерпавших себя эксцентриков?».

Получается, что редакция с именами футуристов предназначалась для сборника, который казался экспериментальным по причине соседства недавних оппонентов — авангардистов от футуризма и традиционалистов (с футуристической точки зрения) от символизма. Более того, стихотворение Блока открывало «Стрелец», объективно играя роль манифеста (ср. также строки: «Критик, громя футуризм, / Символизмом шпынял, / Заключив реализмом»). И этот «манифест» о единении символистов и футуристов включал строки, бесспорно отмеченные несколько ироническим отношением к «коллегам» по сборнику. Не претендуя на исчерпывающее объяснение мотивов подобного «литературного жеста» Блока, можно пока ограничиться констатацией того обстоятельство, что «жест» имел место, и привести одно соображение. Трудно с уверенностью сказать, что имел в виду Блок, набрасывая в марте 1914 г. строки о «ценах больших», назначенных Хлебниковым и Маяковским, но гласности это высказывание предается в 1915 г.

Это гипотетически позволяет предположить намерение Блока охарактеризовать не столько «книги» футуристов, сколько пропаганду ими собственных глобальных пророчеств, в частности касающихся Мировой войны и славянства, которым умело «назначили цены большие». Иными словами, поэт-символист, сам склонный толковать свои тексты в профетическом ключе, возможно, дистанцировался здесь от продолжателей и подражателей (тема диалога

Блока и футуристов в аспекте «славянской взаимности» требует дальнейшего пристального исследования; см., например, близость знаменитых строк из «Скифов» «нас — тьмы, и тьмы, и тьмы» к «<...> скачемте вместе. Самы и Самы, нас / Много — хоботных тел» Хлебникова).

При подобном подходе особого рассмотрения требуют «пушкинские» мотивы в стихотворении «День проходил, как всегда...». На первый взгляд, «пушкинское» настойчиво фигурирует у Блока как оппозиция «футуристическому», но логика текста разоблачает эту оппозицию в качестве мнимой: «оба хуже», крайности равно неистинны, равно характеризую современное «сумасшествие тихое». Да и в записных книжках Блока (рубеж 1913/1914 гг.) находим аналогичные суждения:

Когда я говорю со своим братом-художником, то мы оба отлично знаем, что Пушкин и Толстой — не боги. Футуристы говорят об этом с теми, для кого втайне Пушкин — хам («аристократ» или «буржуа»). Вот в чем лезть и, следовательно, ложь. <...> А что если так: Пушкина научили любить, опять по-новому — вовсе не Брюсов, Щеголев, Морозов и т. д., а ... футуристы. Они его бранят, по-новому, а он становится ближе по-новому.

В стихотворении «День проходил, как всегда...» сразу вслед за Хлебниковым и Маяковским — монтажно — возникают «Два стихотворца / (Поклонники Пушкина)» (кстати, и авангардистов, и традиционалистов у Блока — двое); «монтажная» конструкция повторяется в дальнейшем еще раз, причем футуристов снова столько же, сколько их оппонентов — теперь по одному человеку:

Ни манифест футуриста,  
Ни стихи пушкинианца <...>.

В ряду встреч и событий блоковского «дня» (по редакции «Стрельца») примечателен и некий странный персонаж:

<...> собрат по перу,  
В бороде утонувший,  
О причитаньях у южных хорватов  
Рассказывал долго.

Истолковать этот персонаж, сославшись на конкретные реалии, пока не удастся — в предварительном порядке целесообразно отметить: «пушкинский» контекст невольно заставляет ассоциировать «южных хорватов» с «западными славянами» (католики-хорваты в российском общественном сознании традиционно вызывали меньше интереса, чем православные сербы или черногорцы), а «Песни

западных славян» Пушкина были столь же значимы для поэтики «славянского единства», как и «Клеветникам России». Например, Янко Лаврин, будучи секретарем Общества Славянского Научного Единения (председатель — В. М. Бехтерев), писал в первом сборнике материалов Общества (1913):

«Имеют ли современные русские литераторы и интеллигенты вообще хоть малейшее понятие о чудных сербских народных песнях, приведших в восторг еще старика Гете и великого Пушкина?».

Соблазнительно предположить, что стихотворение Хлебникова «Воспоминания» было своего рода ответом на «День проходил, как всегда...»: по крайней мере, «велимироведы» сопоставляют Перемышль Пушкинианской красоты и «стихи пушкинианца» (Тв, 1986, 666). Тогда получалось бы, что Будетлянин, реагируя на полемический выпад Блока, поддержал начатую тем дискуссию, привычно строя ее на имени «Пушкина». Но, к сожалению, термин «пушкинианец» (и его дериваты), получив распространение после Пушкинского юбилея 1899 г., просто обозначал дилетантов от пушкинистики и/или профессионалов по любви к «нашему всему» и потому не может надежно оцениваться как доказательство конкретной аллюзии. Зато Н. Н. Асеев в своевременно не опубликованной статье «Поколение Блока» (1940) указывал, что «отзвуки» стихотворения «День проходил, как всегда...» наличествуют в ранних произведениях Маяковского (поэма «Человек»).

В любом случае, Хлебников в 1915 г. суммировал свою концепцию «военного» Пушкина, записав в альбом Л. И. Жевержеева:

Будетлянин — это Пушкин в освещении мировой войны, в плаще нового столетия, учащийся праву столетия смеяться над Пушкиным 19 века. Бросал Пушкина «с парохода современности» Пушкин же, но за молвой нового столетия. И защищал мертвого Пушкина в 1913 году Дантес, убивший Пушкина в 1837 году.

(Кстати, запись Хлебникова явно перекликается с размышлениями о Пушкине В. В. Маяковского в советском стихотворении «Юбилейное» и в «юбилейных» выступлениях других футуристов.)

Возвращаясь к поэтике «славянской взаимности», конспективно перечислим факты, свидетельствующие о ее функционировании в творчестве В. В. Хлебникова во время и после российских революционных катастроф (наряду с другими поэтиками и/или «кодами» националистического типа — «скифством» и т.п.). Итоговый текст «Свояси», который, как уже упоминалось, включает «славянскую» формулу самовитого слова, открывается двумя манифестарными абзацами:

В «Девьем боге» я хотел взять славянское чистое начало в его золотой липовости и нитями, протянутыми от Волги в Грецию. Пользовался славянскими полабскими словами (Леуна).

В. Брюсов ошибочно увидел в этом словотворчество. (Тв, 36)

Поминая славянские полабские слова, Хлебников актуализирует топоним тевтонской державы, что стоит на «городе мертвых» славянских государств, характерный для поэтики «славянской взаимности» (ср. также в статье «О расширении пределов русской словесности»: <...> полабские славяне, называвшие луну Леуной (Тв, 593).

Столь же маркирована формула славянское чистое начало в его золотой липовости, которая содержит явную аллюзию на особое почитание липы древними славянами. Образ липы имеет ключевое значение для поэмы «Дочь Славы», где обыгрывается в 121 сонете третьей песни. Это важнейшее произведение Коллара — начиная с А. И. Одоевского — не раз переводилось на русский язык). Так, в 1902 г. авторитетный журнал «Русская мысль» печатает перевод, осуществленный — с нарушением строфики и стихотворного размера — В. А. Гиляровским (тогда секретарем Славянского вспомогательного комитета) и озаглавленный им «Липы»:

Под липой ребенка баюкала мать...  
 Под липой я маленьким начал играть.  
 Последняя просьба: под липою той  
 Хочу отыскать я мой вечный покой;  
 Когда я окончу унылые дни,  
 Под липой, народ мой, меня схорони.  
 Но, нет! Над могилой не ставьте гранит,  
 Пусть липа родная ветвями шумит,  
 Пусть листья ее надо мной шелестят,  
 И льется весенних цветов аромат,  
 И пусть мой страдающий бедный народ  
 Под липою песню свободы поет.

Для русской поэтики «славянской взаимности» значимо, что стихотворение «Липы» Коллара-Гиляровского было использовано великим современником Будетлянина А. А. Ахматовой в работе над поэмой «Реквием».

Наконец, в последней записной книжке Хлебникова (первая половина 1922 г.), которую «велимироведы» рассматривают как завещание Будетлянина, «славянский» код оказывается одним из принципиальных носителей общего смысла. Трудности, возникающие при расшифровке и толковании этого литературного памятника, заставляют считать его «славянское» прочтение темой отдельной, очень

непростой работы, однако соблазнительно поделиться и некоторыми предварительными наблюдениями.

Во-первых, Хлебников использует здесь свой излюбленный мотив «рек и моря», правда, переводя его из «славянского» в «темпоральный» ряд:

Со временем, когда мы станем богом, речные русла всех мыслей будут течь с высоты единой мысли. Но мы не боги, а потому будем течь как реки в море общего будущего. Оттуда, где расположен опыт каждого, то течь Волгой, то Терек<ом>, то Яиком в общее море един<ого> буд<ущего>.

Во-вторых, соединяя пацифистский пафос с фольклорными образами «русалок (точнее, южнославянских вил и малороссийских мав)», Будетлянин вычеканил емкую формулу:

Война зв<учит>  
нет славян! славяне вы мавяне.

Славяне — народы «слова» и «славы», но война, заставив потускнеть их «славу», превратила их в мавян, пленников Мавы — фольклорного злого духа, несущего смерть; притом слово мавяне гипотетически могло вызывать ассоциации со словами «мовня» (по В. И. Далю), «молва», т.е. «словом» же (ср. сцепление «молвы» и «славы» в «Поручейном»: Так зыбит, снует молва, / С нею славен, славен я!).

В-третьих, логика некоторых ключевых фрагментов поэмы «Вы, привыкшие видеть жизнь...», входящей в записную книжку, может быть прояснена посредством сопоставления со стихотворением «Поручейное». Хлебников пишет в поэме: Ленин — это леший, народ — это Русь <...> что бесспорно напоминает «В умных лесах правен лесовой <...>. А в народе Славяной» (с рукописным добавлением к Славянному — Русилищель, обрусилища).

Советский В. В. Маяковский, которому, кажется, было не до табуированных политико-поэтических мифов Первой мировой войны, регулярно продолжает воспроизводить топику «славянской взаимности». Тому яркий пример — цикл поэтических и прозаических текстов о «заграничных» впечатлениях 1927 г. Стихотворение «Славянский вопрос-то решается просто...», снабженное эпиграфом газетного происхождения «Крамарж, вождь чехословацкой народной партии (фашистов) — главный враг признания СССР», излагает концепцию «пролетарского интернационализма» применительно к славянским народам Европы:

Я до путешествий  
очень лаком.

Езжу Польшею,  
по чехам,  
по словакам.  
Не вылажу здесь  
из разговора вязкого  
об исконном  
братстве  
племени славянского.

Целый день,  
аж ухо вянет,  
слышится:  
«словаками» ...  
«словак» ...  
«словаки» ...

Нежен чех.  
Нежней, чем овечка.  
Нет  
меж славян  
нежней человечка:  
дует пивечко  
из добрых кружечек,

и все в уменьшительном:

«пивечко» ...  
«млечко» ...  
Будьте ласков,  
пан Прохаско...  
пан Ванечек...  
пан Ружичек...  
Отчего же  
господин Крамарж  
от славян  
Москвы  
впадает в раж?  
Дело деликатнейшее,  
понимаете ли вы,  
как же на славян  
не злиться ему?  
У него  
славяне из Москвы  
дачу  
пооттяпали в Крыму.

Пан Крамарж,  
на вашей даче,

в санатории,  
лечатся теперь

и Ванечки  
и Вани,  
которые  
пролетарии, конечно...  
разные,  
и в том числе славяне.

Концовку стихотворения Маяковский «пояснил» в очерке «Ездил я так» (1927), где в отдельном абзаце, подозрительно напоминающем «День проходил, как всегда...» А. А. Блока, читаем:

Утром пришел бородатый человек, дал книжку, где уже расписались и Рабиндранат Тагор и Милюков, и требовал автографа, и обязательно по славянскому вопросу (ср. «<...> собрат по перу, / В бороде утонувший, / О причитаньях у южных хорватов / Рассказывал долго...» — Л. К., М. О.): как раз — пятидесятилетие балканской войны. Пришлось написать:

Не тратьте слова  
на братство славян.  
Братство рабочих —  
И никаких прочих.

Почти ритмизованный фрагмент о «бородатом человеке», помещенный после описания поэтического вечера и перед суховатым рефератом откликов чешских газет на выступление поэта (воспроизводящем письма Р. О. Якобсона), как бы выпадает из хроникального стиля очерка, зато лишний раз подчеркивает значимость блоковской аллюзии (ср. цитирование стихотворения «День проходил, как всегда...» в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»).

Равным образом, польские исследователи (включая замечательного ученого и литератора В. Ворошильского) даже в годы социалистической «советско-польской дружбы» аккуратно игнорировали в творчестве Маяковского еще один важный «славянский» топос, напоминающий «Клеветникам России». Вот как, например, это сформулировано в «выводах общих» очерка «Поверх Варшавы»:

Польша развивалась как крупная промышленная часть бывшей России. Промышленность осталась — рынков нет.

На Запад с лодзинским товаром не сунешься — на Западе дешевле и лучше. Западу нужна Польша как корова дойная. Польша земледельческая.

У многих поляков уже яснее ответ на вопрос — быть ли советской республикой в союзе других советских или гонористой демократической колонией <...>.

Таким образом, «заграничные» тексты В. В. Маяковского 1927 г. четко следуют парадигме «славянского единства» в ее традиционном



русском изводе: для чехов и словаков — истинное единство славянских народов (по образцу Коллара и его круга), якобы оболганное «буржуазными» панславистами вроде Крамаржа (чей панславизм — намекает Маяковский — был куплен подачками царского правительства) и реконструируемое «братством рабочих»; для поляков — мотив «ручьев», сливающихся в «русском море» («советской республикой в союзе других советских»). Разумеется, Польша, обретшая свободу и самостоятельность всего лишь за десять лет до очерка Маяковского, не симпатизировала «единству рабочих и никаких прочих».

Умение оперировать «славянскими» идеями разделял с Маяковским его и Хлебникова собеседник, друг, литературный соратник — Р. О. Якобсон. В Чехословакии 1920-х гг. он имел несколько неопределенный статус, будучи информатором советского правительства в стране, активно поддерживавшей русскую эмиграцию и отказывавшейся признать СССР. По словам автора интереснейшей архивной публикации,

«несмотря на отсутствие дипломатических отношений, постоянное представительство СССР энергично функционировало в Праге, а его «дипломатический информатор» Роман Якобсон — большой поклонник славянского единства — регулярно бывал «на чае» у президента Масарика».

Якобсон в 1925 г. носился с экстравагантным планом организовать советский визит Т. Масарика и тем самым существенно улучшить дипломатические связи двух государств. Полпред в Чехословакии В. А. Антонов-Овсеенко, полагаясь на данные своего «дипломатического информатора», продвигал «наверх» хитроумный замысел: Масарика надо пригласить не в качестве лидера враждебной страны, но как знаменитого ученого-слависта, который посетит грандиозные торжества, посвященные 200-летию Российской академии наук. Антонов-Овсеенко со слов Якобсона утверждал, что приглашение такого рода Масарик охотно примет, и это будет принципиальной победой советской дипломатии. План Якобсона по каким-то не зависящим от него причинам не был реализован, однако его умение пользоваться «славянским» кодом здесь налицо. Соответственно, не приходится удивляться тому, что в середине 1930-х гг. НКВД расследовал дело подпольной «Российской национальной партии», которая якобы «была создана по прямым указаниям заграничного центра, возглавляемого князем Н. С. Трубецким, Якобсоном, Богатыревым и другими».

В предложенной перспективе по-особенному выглядят некоторые «странные сближенья» Р. О. Якобсона, изложенные в его фундаментальной работе «Основа славянского сравнительного литературоведения» (1953) (о воздействии идеологии «славянского единства», в частности, сочинений Я. Коллара, на лингвистические концепции

Р. О. Якобсона, его предшественников и современников см. подробнее в работах П. Сериио.

В знаменитом стихотворении Я. Коллара, представителя позднего чехословацкого классицизма, находим: SLAVme SLAVne SLAVu SLAVuv SLAVnych! Вспоминается похожая строка поэта далматинского Ренессанса Юние Палмотича (1606–1657): SLAVnijeh SLAVa capti SLAVa. Сближение Slavi со slavni возводится к Мариньоле, придворному историку Карла IV. Сколько угодно аналогичных примеров можно привести как из старой, так и из новой поэзии и других славянских народов. Этимологическая фигура широко применяется в русском фольклоре. <...> Максимальную нагрузку этот прием получает в стихотворении «Заклятие смехом»; оно было написано в начале нашего века В. Хлебниковым, одним из основателей русского футуризма. <...> В одном из вводных предложений к поэме Яна Коллара «Дочь славы», «Narodu meho Aj, onemelt» uz, byv k urazu zasti jazyk», слова onemel jazyk буквально значат «язык стал немым», с коннотацией «язык стал немецким», в то время как следующее предложение, «Uz hlaholem zrevna usta umkla nemum» («поющие уста уже умолкли от немого языка»), вызывает ассоциацию с «hlaholem nemeskyum» «немецким языком», которая помогает понять оксюморон «немой язык» (94). «Боевая» Хлебникова (около 1906), возглашая «Напор славы единой и цельной на немь!», следует Коллару и в том, что слову «слава» приписывается двойной смысл («слава» и «славянство»), и в том, что в неологизме «немь» слиты воедино намеки на «немоту» и на «немцев» <...>.

Учитывая сказанное, можно заключить: это не столько изыскания академического ученого, сколько итоговое свидетельство «посвященного», который внимательно следил за перипетиями рецепции русскими футуристами поэтики «славянского единства».

